

По дворам ходили пейлеваны



Первые два дня, что я провел в Ереване, Сурен только и делал, что объяснял с утра до вечера. И, кажется, это вошло у него в привычку. Мне нужно было разобраться в работе этнографической экспедиции, где участвовали молодые армянские ученые. Они обследовали множество деревень в республике, и результаты оказались, как я слышал еще в Москве, весьма интересными. Меня должны были взять с собой в деревню — посмотреть на работу в полевых условиях, и до

этого следовало понять принципы и направления обследования. Мы копались в кипах опросных листов, и каждую запись Сурик растолковывал в доступной форме.

Но сегодня выходной день, и мы решили съездить в Гарни — недалеко от Еревана. Там ожидался народный праздник, да и храм в Гарни стоило посмотреть — первый век нашей эры, эллинистическая архитектура...

Мы шли вниз с площади Абовяна, направляясь к автобусной станции. Из-за угла вывернул микроавтобус, и от столба к нему устремилась маленькая, но шумная толпа.

— Бежим,— крикнул Сурик,— наш!

Люди с таким азартом хлынули к «рафику», что показалось: мест не хватит. Но, оказалось, многих пришли провожать родственники, они-то и создавали шум и впечатление суеты. Мест для сидения хватило всем, правда, устроились мы не рядом, и все-таки Сурик потянулся ко мне:

— Когда я был маленький, окраина была куда ближе к центру. Помню даже, во дворы еще заходили пейлеваны. Прямо шесты ставили и начинали...

Кто такие пейлеваны, я не знал, но промолчал, ибо видел, что через головы шумных пассажиров говорить ему было неудобно.

— Ничего... Скоро приедем.

Я украдкой взглянул на Сурена Ервандовича Енгибаряна: маленьким он был лет двадцать назад...

За городом начались рыжие горы, дорога круто поворачивала то вправо, то влево. На поворотах в окно открывался отдаляющийся Ереван — все ниже и ниже, хорошо различимый в этот ясный день под блеклым осенним небом. А потом остались только сухие рыжие горы, гряда за грядой.

Крутанув в последний раз, мы въехали на обширную сельскую площадь, окруженную двухэтажными домами из серого камня. От нее шла аллея, обсаженная невысокими деревцами и кустами, и по ней двигалось множество людей. Под первым же кустом стоял деревянный ткацкий станок, а на нем работала женщина несельского вида. Руки ее двигались неспешно, продергивая уток. Она брала ножницы, подрезала нити, связывала их крошечным аккуратным узелком. Вокруг густо толпились люди, и она что-то им тихо объясняла, показывая то на мотки шерсти, то на узкую полоску готовой узорчатой ткани сверху рамы.

Рядом мужчина в берете работал резцом. Вздрогнув, завивалась широкая розово-желтая стружка персикового дерева. Вокруг скульптора стояли люди, но вопросов не задавали.

Следующий мастер показывал шахматные фигуры из персиковых косточек. Доска тоже была из косточек, разрезанных на пластинки и отшлифованных. Рядом с доской лежали ожерелья и браслеты из того же материала. Тут люди задавали один и тот же короткий вопрос, а мастер отвечал кратко, вежливо, но твердо.

— Не продается,— перевел Сурик.

И уже совсем что-то непонятное висело на двух веревочных петлях: продолговатый глиняный бочонок, похожий на огромную дыню, обрубленную спереди и сзади. Подошли две пожилые женщины в длинных красных юбках, красных безрукавках и красных платках, обтягивающих лоб. В несколько рядов на платки нашиты были двухкопеечные монеты. Они весело переглянулись: «Смотри, мол, что выставили!» Одна шагнула к бочонку и ловко его толкнула. Бочонок метнулся по замысловатой кривой и закачался. Тогда вторая шлепнула его с другой стороны, усилив и усложнив движение бочонка. Оказалось, что в таких глиняных сосудах сбивали масло: заливали кислое молоко с водой и раскачивали. Женщины гордо поглядели на нас: не забыли еще старого!

Аллея широко открывалась к обширной, мощенной плитами площади, в противоположной стороне которой высился античный портик Гарнийского храма. Все пространство заполнила толпа, совершенно закрывавшая подножие храма. Расхаживали женщины в красных юбках до пят и парни в длинных пестрых брюках, жилетах и высоких плоских войлочных колпаках, перевязанных на лбу широкой лентой. Конец ленты лихо нависал над правым ухом. Спокойно стояли сухолицые мужчины в черкесках и лохматых конических папахах и переговаривались с девушками в длинных белых платьях и камзолах. Со стороны храма слышалось протяжное пение хора. Мужчины в черных пиджаках держали на плечах детей, и важно прохаживались девочки в пионерских галстуках, с красными повязками дежурных на рукавах.

Хор умолк. Тут же заголосила зурна и застучал барабан, словно морзянкой передавал, повторяя и повторяя, непонятную мне фразу. Я вошел в толпу.

И тут в воздухе над головами людей справа от храма я увидел человека на табурете.

Он чуть-чуть наклонялся, и табурет коротким рывком продвигался вперед. В руках человек держал тускло блестящий алюминиевый шест. Впрочем, и без шеста можно было понять, что это канатоходец. По тросу, натянутому параллельно с этим, шел другой мужчина, постарше и подороднее. На обоих были надеты красные атласные рубашки вроде русских, только с прямой застежкой. Темно-зеленые шаровары, тоже из атласа, заправлены в мягкие брезентовые сапожки.

Все это можно было разглядеть издали, но лишь протиснувшись совсем близко, я увидел, что к ногам старшего привязаны длинные — почти до земли — веревки, соединенные досочкой. На ней, как на качелях, сидел, вцепившись ручонками в веревки, мальчик лет пяти. Рядом шел отец, готовый в любой момент подхватить ребенка, и оглушительно кричал ему что-то ободряющее.

Канаты натянуты были почти у обрыва.

А прямо передо мной верещал и прыгал пестро разодетый малый с огромным носом картошкой и длиннющими черными усами. Мятая шляпчонка скрывала его глаза, а рубаша, казалось, состояла из одних разноцветных заплат, пришитых грубо, не в тон подобранными нитками, как у клоуна в цирке.

Да он и был клоуном, даже не клоуном, а ярмарочным шутом, потому что зрелище это под открытым небом, с ходящей взад-вперед публикой было именно ярмарочным, балаганным. Он спотыкался, переругивался со зрителями, верещал без умолку (понять бы что! Люди-то смеются!). И при этом ни на мгновение не оставлял без присмотра мальчика на движущихся качелях. А тот, совсем осмелев, начал раскачиваться сильнее и сильнее, и это делало передвижение канатоходца еще более трудным.

Шут мельтешил перед глазами, однако же точно оказываясь все время именно там, где был нужен. Человек на табурете допрыгал до конца каната, привстал, и, когда табурет рухнул вниз, шут тут же подхватил его. Откачались качели. Шут схватил пацана, чмокнул его в лоб и отдал гордому отцу. И кричал, вызывая всеобщий смех.

Не смеялся лишь я, ибо в этой толпе только я не понимал ни реплик, ни слов. По известному закону, именно в этот момент Сурика окликнули знакомые, которых он бог весть сколько не встречал в Ереване словно для того, чтобы счастливый случай свел их в Гарни на празднике.

Но не то место Армения, чтобы не распознали здесь приезжего человека, а распознав, не стали ему тут же объяснять. Сосед слева — круглолицый курчавый парень — спросил меня о чем-то по-армянски и, услышав, что я не понимаю, удовлетворенно кивнул, словно как раз этого и ожидал.

— Народный цирк, армянский, очень древний, — пояснил он. — Называются пейлеваны. Вот эти — номер один в республике.

Так вот какие они, пейлеваны, которые еще не так давно ходили по ереванским кварталам! Приходили, ставили шесты и начинали...

Оба пейлевана, присевшие передохнуть на скрещении шестов, поднялись, взяли в руки балансиры. Зазвучала за моей спиной от храма новая мелодия, и, оглянувшись, я увидел, что у подножия храма парни в пестрых брюках и войлочных колпаках стали цепочкой попеременно с женщинами в красных одеяниях. Первый — здоровый малый и последний — мальчишка лет десяти помахивали платками. Музыка играла для них, и они пошли извивающейся змейкой, то убыстряя шаг, то враз останавливаясь и подпрыгивая. Танец непохож был на кавказский, как мы себе его представляем. Мне это напоминало балканское хоро. И лица у танцоров были не такие резкие и суровые, как у людей в черкесках, что стояли рядом.

То были крестьяне из дальнего Талинского района, потомки тех, кто, спасаясь от резни, ушел в российскую Армению.

Музыка была гордая и печальная. И древняя. Очень древняя.

Оба пейлевана, пританцовывая в такт, шли по параллельным канатам друг другу навстречу. Они словно повторяли движения танцоров, даже не глядя в их сторону. Артисты как бы не замечали друг друга, и только музыка была одна и та же.

Пейлеваны встретились, резко что-то выкрикнули, подняв в знак приветствия правые руки. И тут же шут, высоко подпрыгнув, подал одному из них бутылку, а другому платок. И засуетился среди толпы, очищая пространство под канатами: теперь если бы кто из пейлеванов — не дай бог! — свалился, никого из зрителей он бы не зашиб.

Время от времени курчавый сосед объяснял мне, что происходит, но чаще молчал, увлеченный зрелищем, или не успевал переводить, потому что успеть за всем сумел бы лишь мастер синхронного перевода.

Я поймал на себе чей-то взгляд: невысокие мужчина и женщина смотрели на меня пристально и, как мне показалось, напряженно. Танцоры у подножия храма уже шли кругом, музыка как бы повеселела, не так пронзительна стала зурна, залопотали барабаны.

Но теперь старший пейлеван приплясывал с завязанными глазами, а младший пристраивал к тросу бутылку горлышком вниз. Наконец установил, прижался головой к доньшку и, рванув тело, встал вверх ногами.

— У-ух! — выдохнули зрители, разом смолкнув.

У подножия храма кружился хоровод, но зурна замолчала. Лишь барабаны продолжали вести мягкий перестук.

Пестрые брюки и красные платья смешались с толпой. Пейлеваны вновь присели отдохнуть на скрещении шестов.

Под лезгинку на площадь вылетели мужчины в мягких сапожках.

И тогда на канат полез шут. Со стороны казалось, он ничего толком не умел, потому что по косому канату-растяжке взбирался удивительно неуклюже, опираясь на шест-балансир, воткнутый в землю. Он так качался, так боялся, даже норовил было спрыгнуть, что подбежали добровольцы из публики поддерживать его. Шут несколько раз попробовал ногой трос, как купальщик холодную воду, отдернул ногу, и только воткнутый балансир помогал ему удерживаться.

Я протиснулся по кругу сквозь толпу к противоположной стороне — так было лучше видно. И, пристроившись в первом ряду, обнаружил, что следившая за мной пара оказалась снова рядом. И снова внимательно смотрят на меня...

— Вы хотите у меня что-то спросить? — обернулся я к ним.

— Нет! Знаете, вы, наверное... — начал мужчина, а жена перебила:

— Да! Вы, наверное, не все понимаете, наверное, думаете, что он не умеет...

Она показала пальцем на канатоходца, и снова вступил муж:

— Он все умеет, только притворяется, знаете, артист...

— Мы подумали, вам надо помочь, — завершила жена. — Ох, слушайте!

Оба смолкли на минуту, смущенные собственной добротой.

Шут тем временем добрался все-таки до середины, но там остановился, как вкопанный, и закричал, что дальше не пойдет, и попросил кого-нибудь из добрых людей снять его. Добрые люди не торопились, хотя бедняга раскачал своей дрожью канат, как качели.

К тому же оркестр в этот момент смолк. Это настолько возмутило шута, что он отпустил балансир и, воздев обе руки, закричал, что это уже нахальство. Мало того, что человек жизнью рискует, так еще и музыку прекратили! Ну уж дудки! Без музыки пусть кто другой по канатам ходит! Он жестикулировал и даже ногой топнул по канату.

Я стоял совсем близко и, когда шут повернул голову, за краем его маски увидел совсем девичью смугловатую щеку и понял: это еще мальчишка. Лет шестнадцати-семнадцати самое большее. А то, что он, этот парнишка уже мастер-пейлеван, я понял гораздо раньше.

За полтора часа, что продолжались танцы, пейлеваны не слезали на землю ни разу. Они кувыркались на канате, подкладывали под себя узенькие — в три школьные линейки — досочки и на них ползли из конца в конец.

А потом разом спрыгнули. Пейлеван помоложе и шут стали отвязывать растяжки.

Я подошел к старшему пейлевану. Он стоял, окруженный почтительной компанией давешних зрителей. Было прохладно, и он надел плащ-болонью. К тому же заштопанная грудь атласной его рубахи сильно потемнела от пота.

— Зовут меня Арменакян Георгий Бенъяминович. Да просто Жора — пейлеванов все по имени зовут.

— Жора,— заулыбались поклонники,— номер один пейлеван! Жорой зовут. Отец тоже номер один был.

— Отец мой тоже пейлеваном был. Мы сейчас в Доме народного творчества работаем. Ездим по районам, в Среднюю Азию выезжаем... Этот, который как клоун, мой сын. Тот,— он указал на второго канатоходца,— не родственник, мой ученик.

— Номер один тоже,— загудели люди.— Сын — номер один пейлеван тоже будет. Э, что будет, уже какой пейлеван!..

Но Георгий Бенъяминович Арменакян, внезапно выкрикнув что-то неодобрительное, кинулся к неотвязанному еще канату. На него пытался залезть какой-то энтузиаст из местных, и это следовало пресечь.

Я поискал Сурика и, обнаружив его беседующим на ступенях эллинистического храма первого века, направился к нему.

— Давай поторопимся, ребята нас ждут. Тебя и еще двоих киевских социологов. Армянский шашлык устроим. Сам Манук за дело взялся, лучший мастер в институте.

Сквозь редевшую толпу мы поспешили к остановке. Бели шашлык делает бородатый Манук, лучше не опаздывать.

Сквозь громкий армянский разговор до меня вдруг донеслись английские слова.

— Лук эт Молли Кеворкиан,— промолвила пожилая женщина полному мужчине с фотоаппаратом.— Посмотри на Молли Кеворкян.

И махнула рукой в сторону.

Положив руки на плечи двум женщинам в красных платьях, дама в брючном костюме повторяла их движения, а они что-то ей объясняли.

Урок танца. Древнего армянского танца, который сохранился в Талинском районе Армении.

Наверное, где-нибудь в городе Фресно, штат Калифорния, миссис Кеворкиан будет теперь считаться первой специалисткой по армянским танцам. Поскольку ей показали их в Армении старухи из Талинского района, где все прекрасно помнят и знают.

На этот раз нам повезло: мы сели рядом. Аккуратный во всем Сурик, не забывший о разговоре, сразу вернулся к прерванной теме:

— Теперь я тебе объясню, что такое пейлеваны...

Лев Минц, наш спец. корр.

Ереван